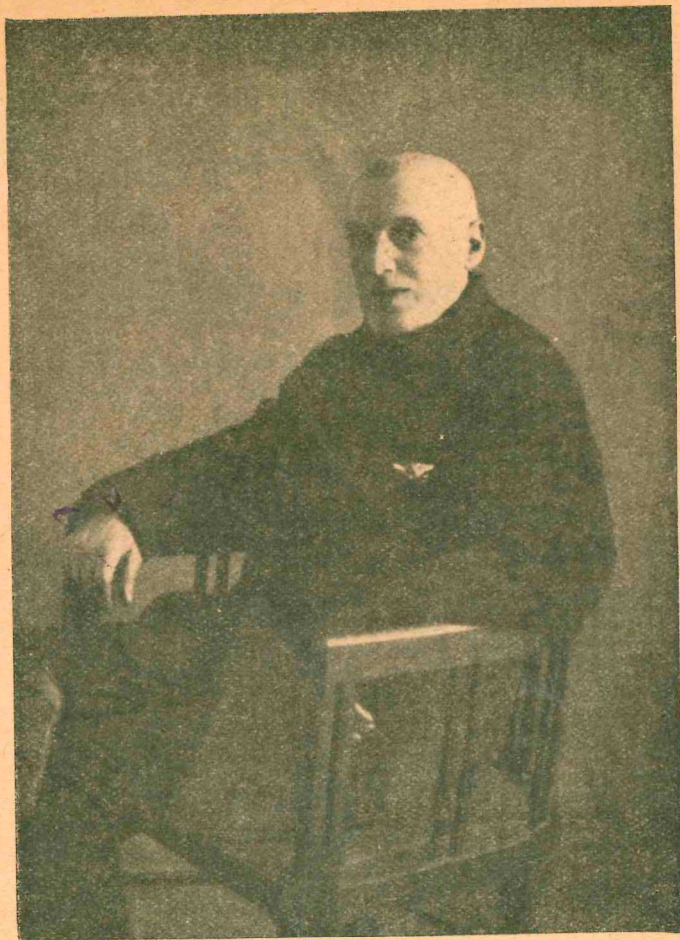




С. Е. ЛИОН.
7 Апреля 1924 года.

БИБЛИОТЕКА РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ МК РЛКСМ

ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО РЕВОЛЮЦИОНЕРА
под редакцией А. И. ЕЛИЗАРОВОЙ и Ф. КОНА

W 401
537

С. Е. ЛИОН

ОТ ПРОПАГАНДЫ К ТЕРРОРУ

ВЫПУСК I



„НОВАЯ МОСКВА“

1925

Отпечатано в 4-й типографии „Мосполиграф“, Москва, Армянский пер., д. 6. Мосгублит № 28.064. Тираж 15.000 экземпляров.

От пропаганды к террору ¹⁾.

(Из одесских воспоминаний семидесятника).

1. Арест.

Это было 24 июля 1878 года в Одессе, перед зданием военно-окружного суда на Гулевой улице, в последний день суда над И. М. Ковальским и другими ²⁾, обвиняемыми в вооруженном сопротивлении жандармам при аресте, т.-е. по 179 ст. Военно-Судебных Постановлений, карающей смертной казнью. Несметное количество

¹⁾ Печаталось в журнале „Каторга и ссылка“ № № 5 (12) и 6 (13) за 1924 г. Является первым выпуском книжки С. Е. Лиона.

²⁾ 1878 год знаменуется в русском революционном движении во-первых, тем, что мирные средства, мирная пропаганда стали заменяться терроризмом, а во вторых, тем, что организация разрозненных кружков заменяется более или менее централизованной организацией. Производится ряд террористических актов: так, еще в 1876 году опасно ранится предатель Горинович; в том же году в Одессе был убит шпион Тавлеев, а в Петербурге—Финогенов. Наконец, 24 января 1878 года раздается выстрел Веры Засулич в петербургского полицеймейстера Трепова. При аресте многие революционеры оказывали жандармам вооруженное сопротивление. К числу подобных случаев и относится описываемый случай с И. М. Ковальским и друг. они отстреливались от жандармов до тех пор, пока им не удалось сжечь своих бумаг и уничтожить шрифт.

Прим. ред.

публики в ожидании приговора; многочисленная полиция, конная и пешая, как-то вяло просит публику разойтись, но не настаивает; публика скопляется к вечеру все более и более, — яблоку упасть негде; в этой толпе много членов нашего революционного кружка, в том числе и я. Главному подсудимому Ковальскому грозит, по слухам, смертная казнь. Вот почему вся толпа и все мы с замиранием сердца ждем приговора; военный суд совещается уже много часов. Не хочется верить, не допускаем мысли, чтобы суд вынес, осмелился вынести смертный приговор... Кроме полиции, пешей и конной, много казаков-башкир и вооруженной пехоты. А новая публика все прибывает и прибывает: тут и рабочие, и черно-рабочие, и обыватели разных слоев, и интеллигенция; прибывающие спрашивают, в чем дело, кого и за что судят, — и, наэлектризованные, присоединяются к ожидающей толпе.

Смерклось... Вдруг по толпе проносится резкий, ужасный, душу раздирающий и в то же время как бы вызывающий крик: «Ковальский присужден к смертной казни! Ковальский присужден к смертной казни!» Крик подхватывается, несется по всей площади и скоро сменяется истерическими возгласами: «Долой палачей! Долой смертную казнь! Убийцы! Мерзавцы!». Раздаются два-три выстрела, потом ружейный залп. Гулевая улица моментально пустеет, остается лишь на мостовой несколько раненых

и убитых, — в числе последних двое молодых наших товарищей, Погребицкий и Полтавский. Бросившись бежать с Гулевой улицы, многие из нас очутились на Приморском бульваре, где в то время была масса гуляющей публикой. 14-летняя Виктория Гуковская, бывшая тоже в числе демонстрантов на Гулевой улице и прибежавшая оттуда с другими на бульвар, не долго думая, обратилась к публике с речью. Рассказав вкратце о процессе Ковальского и последовавшем смертном приговоре, она убеждала публику выразить протест против палачей и убийц. В это время слышались крики, что приближаются казаки, и мы разбежались по домам...

Гуковская заслуживает того, чтобы сказать здесь о ней несколько слов. Она не принадлежала ни к одному из революционных кружков, — это была восторженная девушка, почти ребенок, типичная нигилистка, ¹⁾ обращавшая внимание чуть ли не всей Одессы своим необыкновенным костюмом ²⁾ и поведением, румяная, кровь с молоком, рыжая, стриженная, в громадной, широкополой, клеенчатой шляпе, искренняя, наив-

¹⁾ Нигилистами (от слова nihil — по латыни — ничто) назывались люди, отрицавшие основы тогдашнего правопорядка, нравственности, поведения и т. д. Внешне это проявлялось тем, что нигилисты, напр., одевались по-особому, не в пример всем: женщины стригли волосы, носили косоворотку, кожаный пояс и т. д. Тип нигилиста выведен Тургеневым в его романе „Отцы и дети“ в виде героя романа Базарова.

²⁾ Она носила часто мужской пиджак.

ная, смелая. Она чрез несколько дней была арестована; ее, этого ребенка, продержали около года в Одесской тюрьме в строжайшем одиночном заключении и самым безжалостным образом сослали в административном порядке в Восточную Сибирь, в г. Красноярск, где она года через два, не выдержав тяжелой ссылки, покончила жизнь самоубийством...

На другой же день после описанного события начались в Одессе многочисленные аресты всех подозрительных. Я в то время состоял уже второй год в революционном кружке под кличкой «Касьян», и только-что перешел на 3 курс юридического факультета одесского университета; мне шел 22 год. Жил я вполне легально, снимая студентически отдельную комнату у какой-то хозяйки и существуя уроками английского языка и репетированием гимназических предметов; жан-дармам и полиции как будто не был известен. Прошло с неделю после кровавых событий на Гулевой улице; я спокойно шел по какой-то улице, одетый в простую летнюю блузу, в высоких сапогах, давно нестриженный, — вообще, вид был довольно «нигилистичий», как это и подобало в то время нашему брату — революционеру... Как вдруг подходит ко мне городской и просит следовать за ним. Будучи вполне легальным и зная, что у меня на квартире все в порядке (в виду происходивших многочисленных арестов я ее привел в надлежащий «порядок»), я довольно спокойно

пошел за ним. Возле какого-то подвального кабачка городской попросил меня подождать, а сам вошел в кабачок. Я стал ждать; пошел мелкий дождик, я все ждал, терпеливо ждал. Правда, мелькала мысль: «не уйти ли, какого чорта, в самом деле, ждать!», и, конечно, если бы я мог предвидеть весь дальнейший ход событий, я бы не стал ждать... Минут через 20 вернулся мой городской и вскоре привел меня в участок. Каково же было мое удивление и негодование, когда он, передавая меня дежурному околоточному надзирателю, выпалил: «так-что, ваше благородие, по дороге он давал мне три рубля, чтоб я его отпустил, но я не взял». Возмущенный такой наглостью, я рассказал околоточному, как я терпеливо мок на дожде, пока городской прохлаждался в кабаке, но это нисколько не помешало величественному околоточному занести в протокол заявление своего городского в виде непреложного факта. После этого меня отвели в одиночную камеру при участке, до того наполненную мириадами клопов гигантской величины, что нельзя было ни сесть, ни лечь, ни есть, ни пить, — это было нечто кошмарное...

Постепенно, час за часом, день за днем, и другие камеры начали наполняться вновь приводимыми политическими арестованными, и в числе их через несколько дней появился в соседней камере мой любимейший друг и товарищ по кружку, также студент-юрист моего же курса Гри-

горий Фомичев. Увидев меня через форточку, после вечерней проверки, когда все стихло, он стал в самых резких выражениях ругать демонстрацию и демонстрантов и меня в том числе: «Вооруженная демонстрация! вооруженное сопротивление! Что выдумали! ведь, это безобразие! ведь, это безумие, чистейшее мальчишество! И столько жертв! Чорт знает, что такое! И как ты мог принять в этом участие!».

Прошло несколько месяцев и вот, по какой-то роковой иронии судьбы, случилось, что этот самый Фомичев предстал пред одесским военно-окружным судом по обвинению не более и не менее, как... в организации этой самой демонстрации, этого самого вооруженного сопротивления, как главный зачинщик и предводитель. — Он, никакого отношения к делу не имел и кипел искренним негодованием и возмущением против этой «мальчишеской затеи», потому что Фомичев был и остался до конца мирным пропагандистом. — мучеником чистейшей воды начала 70-х годов, эпохи медовых месяцев «хождения в народ». Его горячее, полное искреннего, глубокого чувства последнее слово на суде, в котором он клялся в своей непричастности к этой демонстрации, заявляя в то же время, что он враг существующего строя и всеми силами стремится и будет стремиться к его ниспровержению путем социальной революции, но единственно оружием мирной пропаганды, — только это последнее слово

спасло Фомичева от виселицы, тронув своею благородною искренностью даже каменные сердца военных судей. Он был присужден «только» к бессрочным каторжным работам. Фомичев был признан виновным и осужден потому, что нашелся один гнусный офицер из числа дежуривших во время суда над Ковальским, показавший под присягой на суде, что он сам видел, как, будто бы после произнесения смертного приговора над Ковальским Фомичев, бывший в зале суда в числе публики (публика пускалась по билетам и Фомичев таковой имел), махнул в раскрытое окно платком публике, собравшейся пред зданием суда, затем стремительно выбежал к толпе и стал подстрекать ее к вооруженной демонстрации... Дальнейшая трагическая участь Фомичева известна: по пути на каторгу, а именно в феврале 1880 года, он бежал из Иркутской тюрьмы через подкоп вместе с пятью другими: Попко, Волощенко, неизвестный раненый в голову (Иванченко), Тищенко и Яцевич, но вскоре они были пойманы. Фомичев, водворенный на каторгу в Карийских рудниках, был прикован к тачке. Через несколько лет, не выдержав всех ужасов каторжного режима, он уга с навек. Так погиб этот замечательный человек, пропагандист чистейшей воды, последний представитель мирного «хождения в народ», — погиб от меча, хотя «меча не поднимал» ни на кого; беззаветно преданный своему народу, человек кристальной души, бесстрашный борец и чуткий, сердеч-

ный товарищ, бесконечно любящий и бесконечно любимый... 1).

Но возвращусь к своему рассказу. Через несколько дней появились в коридоре, куда выходили наши камеры, два каких-то штатских субъекта, которые заглядывали в наши дверные окошечки, как бы что-то разглядывая... Я все еще недоумевал, как и почему я арестован, — случайно ли, или по чьему-либо доносу и указанию, в чем меня подозревают, имеются ли какие-либо улики... Дней через десять после моего ареста меня привели к следователю окружного суда (к счастью, следствие по делу о «вооруженном восстании» вел обыкновенный следователь, а не жандармерия, как позднее) и поставили среди двух типичнейших уголовных арестантов, одетых в жалкое арестантское платье, тогда как я, попрежнему, был в том самом своем обыкновенном костюме, в котором меня арестовали на улице. Затем ввели тех двух субъектов, которые заглядывали в наши камеры, и следователь торжественно спросил, узнают ли они среди предъявляемых им трех лиц кого-либо из участников вооруженной демонстрации? Они сейчас же ткнули пальцем по моему адресу и категорически заявили:

1) Смори о нем статью Анастасии Шехтер в 6-м номере журнала „Каторга и Ссылка“, „Революционная Одесса 1877—1878 гг.“. Шехтер рисует верный и яркий духовный облик Фомичева: „Это был фанатик своей идеи. Живой, активный, горячий человек, он страстно проповедовал свои идеи и заражал ими слушателей“...

«этот самый, он там был и кричал, мы сами видели его на Гулевой улице перед зданием военно-окружного суда». Но я спокойно объяснил судебному следователю, что они вовсе там меня не видели, а узнают меня теперь по той простой причине, что видели в участке, когда заглядывали в наши камеры, где содержались все подозреваемые в участии в этой демонстрации. Растерявшись и рассвирепев при таком неотразимом доводе, видимо, подействовавшем на следователя, один из этих двух шпииков воскликнул с своеобразным пафосом: «да, действительно, мы заглядывали в камеры, но мы искали наших Дейча и Стефановича, — они люди такие здоровенные, высокие, широкоплечие, а это (указывая на меня) — что?! тьфу!» и даже плюнул в знак презрения к моей сравнительной тщедушности... 1). Таким образом, эта «улика» опознания рухнула...

Прошло еще несколько дней моего сидения в отвратительном клоповнике при участке. Я стал немного успокаиваться насчет своей дальнейшей участи. Недели через две после моего ареста тот же судебный следователь с двумя городовыми на двух извозчиках повез меня на мою бывшую студенческую квар-

1) Дейч, Стефанович и Бохановский, как известно, бежали бесследно из Киевской тюрьмы 25 мая 1878 года. История их замечательно искусного и остроумного побега рассказана подробно, между прочим, в „Воспоминаниях“ Владимира Дебагория-Мокриевича (3-е издание, стр. 352—359).

тиру для производства в ней обыска. Я был совершенно спокоен, так как, во-первых, ничего подозрительного я в ней не оставил, даже ни одной запрещенной книги, ни одного подозрительного письма, а во-вторых, все товарищи по кружку были прекрасно осведомлены как об аресте моем и многих других товарищей, так и о продолжающейся охоте за всеми неблагонадежными и подозрительными... Каково же было мое удивление и прямо ужас, когда, войдя в мою комнату в сопровождении моей почтенной свиты, я увидел там нигилистиче одетых таких террористов и нелегальных, как Попко (убивший незадолго до того в Киеве жандармского ад'ютанта Гейкинга), Волошенко и еще двух-трех не менее выдающихся и ценных революционеров. Каждый из них, как я хорошо знал, был вооружен револьвером и кинжалом, все они жили нелегально по подложным паспортам и усиленно разыскивались.

Этот случай наглядно рисует вообще тогдашнюю халатность наших революционных кружков, благодаря которой было столько провалов и гибло преждевременно столько драгоценнейших революционных сил... Покончив вскоре затем с безрезультатным обыском, следователь очень вежливо раскланялся со всеми и препроводил меня обратно в участок, а через несколько дней следователь вызвал меня опять в свою камеру и прочел свое постановление о том, что мне пред'является обвинение по ст. 263 Уложения о Наказаниях, т. е.

в вооруженном восстании против местных властей, карающей каторжными работами от 15 до 20 лет, и что мерой пресечения он избрал для меня заключение в тюрьме, — и немедленно отправил меня в одесский тюремный замок.

2. Одесский кружок.

Я вступил в подпольную организацию одесского революционного кружка весной 1877 года, будучи студентом 2-го курса Одесского университета по юридическому факультету (этот факультет я избрал в свое время по склонности к тем общественным наукам, которые там преподавались, — политическая экономия, история и др.). Революционные кружки того времени переживали полосу кризиса и перелома, тяжелого и мучительного, вызванного сильнейшим разочарованием того «хождения в народ», которое дало слишком мало реальных результатов, а между тем стоило бесчисленного количества жертв. Люди томились годами в одиночных тюрьмах и изнывали в каторге и ссылке, умирали там или сходили с ума... «Мирная пропаганда», от которой сторонники и теоретики «хождения в народ» ждали чуть ли не моментальной революции, потерпела жестокий крах, и большинство революционно-настроенной интеллигенции потеряло в нее всякую веру. Среди последней уже нащупывались и намечались, хотя и нерешительно, более практические, реальные пути революционной борьбы, и наиболее решительные

стали указывать все настойчивее и энергичнее на необходимость более активной борьбы с ненавистным «существующим строем». Если за одну задачу или даже простое хранение какой-нибудь «Хитрой механики» гноят по несколько лет в предварительном заключении и затем заживо замуровывают в центральных каторжных тюрьмах, то не целесообразнее ли, бросив путь безответного христианского мученичества, начать борьбу с этим строем с оружием в руках, — путем террора? Не будет ли террор гораздо более внушительным орудием пропаганды социальной революции в глазах народных масс, чем раздача нелегальных книжек и, вообще, словесная «мирная пропаганда»? Всколыхнуть эти забитые вековым гнетом неподвижные массы от непробудного сна и рабства можно только пропагандой действий, активным террором, который в то же время покажет им, что правительство, охраняющее «существующий строй», вовсе не так уж сильно, и тем самым зажжет революционный дух, таящийся и тлеющий в недрах народных масс...

Одним из первых, если не первым, пионером теории террора в одесских революционных кружках был Иван Мартынович Ковальский, который из личного тяжелого опыта вынес глубокое, горькое разочарование от «хождения в народ». В это время я и познакомился с ним, и он произвел на меня сильное впечатление. Ему тогда было лет 30, если не больше. Высокий, сутулый,

широкоплечий, с длинными волосами, в высоких нечищенных порыжевших сапогах, одетый по-нигилистиче, с вечным пледом на плечах, с болтающим кинжалом за поясом и неуклюжим громадным револьвером в кармане брюк, он, слегка картавя и шепелявя, громил своей насмешливо-ядовитой иронией «хождение в народ» и всякого рода мирную пропаганду. В то же время настаивал на необходимости пропаганды действием, с оружием в руках; он доказывал, что нельзя спокойно позволять арестовывать себя подобно кротким агнцам, а следует при всяком обыске и аресте оказывать вооруженное сопротивление. У него была даже целая рукопись, довольно обьемистая, посвященная им специально этому предмету, которую, помню, он как-то читал при мне. Но одесские революционные кружки смотрели на Ковальского несколько иронически, считая его разочарованным не в меру теоретиком, который едва ли применит когда-либо на практике свою проповедь вооруженного сопротивления и активного террора... Но мы жестоко ошибались: не прошло и несколько месяцев, как 30 января 1878 года Ковальский, вместе с несколькими другими членами одесского кружка, оказал геройское вооруженное сопротивление жандармам при аресте и тем самым не только доказал на деле всю глубокую искренность своего нового террористического мировоззрения, но был одним из пионеров того великого, крутого и неизбежного поворота русского революционного дви-

жения, который с необходимостью железной логики привел к царубийству 1-го марта 1881 года.

В июне или июле 1877 года я вместе с одним из товарищей был послан в деревню для пропаганды среди крестьян, верст за 30 от Одессы. Захватив с собою несколько экземпляров «Хитрой механики», «Сказки о четырех братьях» и т. п., мы ранним утром выехали из Одессы на простой крестьянской телеге, запряженной одной клячей, которой правил я. Едва мы выехали за городскую черту, как с нами поравнялся конный полицейский и ни с того, ни с сего — хватя меня кнутом по лицу, да еще выругался по матерному; пришлось стерпеть. Это было несколько неблагоприятным предзнаменованием и в то же время довольно наглядной иллюстрацией «мирной пропаганды» и хождения в народ при тогдашней российской обстановке... В деревне я пробыл с месяц, работая по-дневно на табачной плантации какого-то помещика с восхода солнца и до заката под знойными лучами почти тропического южного солнца за 20 копеек в день. Попутно я вел с батраками и крестьянами разговоры о налогах, о земле, о всяких притеснениях и т. п. Они, конечно, жаловались на непомерную тяжесть налогов, на малоземелье, на притеснения помещиков, на произвол полиции и т. д., соглашались со мною, что этого не должно быть, но были в то же время настолько сдержанны, что говорить с ними о восстании, о царе, о революции не приходилось. Впрочем, наученные

горьким опытом наших предшественников-пионеров «хождения в народ», мы на этот раз и не возлагали особых надежд на нашу попытку. Наша поездка была предпринята скорее для личного ознакомления с деревенской жизнью и бытом, а отчасти для проверки основательности того разочарования от пропаганды в деревне, которое в то время (вторая половина 70-х годов) было господствующим настроением революционных кружков. Вывод был ясен и неумолим: летучее, так сказать, хождение в народ не может дать результатов; революционная пропаганда в деревне может и должна вестись и будет плодотворной при том условии, если пропагандисту удастся устроиться прочно, оседло в деревне в виде волостного писаря, сельского учителя, фельдшера, акушерки, владельца мельничного предприятия, деревенской лавочки, кузнечной или сапожной мастерской и т. п. Стали усердно учиться разным ремеслам, потребным в деревенской обстановке. Помню, как и я, забросив на время всякие науки, в течение нескольких месяцев с утра и до вечера учился тачать сапоги в мастерской одного распропагандированного мелкого сапожника... Увлечение такими, так сказать, революционными поселками было еще так велико, что даже Г. В. Плеханов, будущий великий основоположник революционного марксизма, решил с целью пропаганды основаться в деревне в качестве народного учителя, и только счастливая случайность (его не приняли, так как местный исправник

заподозрил его политическую благонадежность) спасла Плеханова от этого рискованного и бесплодного опыта.

Сторонники деревенской «оседлой пропаганды» упускали из виду, что деревня была ограждена таким кордоном полицейской охраны и добровольных шпионов (поп, кулак и т. п.), крестьянская масса была до такой степени бездеятельна и в то же время недоверчиво-подозрительна, смешивая революционеров, готовых за нее жизнь положить, с «господами», мечтающими вернуть крепостное право и поэтому именно «бунтующими» против «царя-освободителя», что строить планы и надежды «социальной революции» на системе оседлых очагов революционной пропаганды — мало чем отличалось от попытки построить здание на песке... С такими-то деревенскими впечатлениями, я вернулся в Одессу. Здесь мы решили повести революционную пропаганду среди городских рабочих.

Мне удалось вскоре завязать близкие сношения с несколькими типографскими и заводскими рабочими; пропаганда среди них пошла очень успешно. Они с жадностью слушали революционную критику существующего строя, не только экономического, но и политического. С целью лучше и сознательнее уразуметь и усвоить всю «хитрую механику» эксплуатации человека человеком и ознакомиться с историей революционных движений, они стали просить меня заняться с ними

основательнее и подробнее. Образовалась группа рабочих человек из 20-ти. Я начал с Лассалля, ознакомил их с некоторыми его произведениями. Затем я переходил к описанию положения пролетариата в Западной Европе, в особенности в Германии и Франции, излагал исторический ход развития пролетарского движения с его важнейшими этапами, отмечаемыми Великой Французской Революцией, революцией 1848 года, июньскими днями 1848 года в Париже, восстанием Парижской Коммуны 1871 года. В самой популярной, конечно, форме я знакомил их с сущностью учения Карла Маркса о капитале и прибавочной стоимости, преподавал основные понятия о прибыли, ренте и заработной плате и т. д. В то время учение Карла Маркса только что стало восходить на русский горизонте, — первый русский перевод его «Капитала» появился лишь в 1872 году и был еще мало распространен. Усвоить его так прочно, чтобы в популярной форме изложить рабочим, стоило мне не мало труда. Рабочие слушали с величайшим интересом, с жадностью и наслаждением, несмотря на то, что наши беседы (а это были именно беседы, а не лекции) происходили по вечерам, по окончании их утомительного рабочего дня и после небольшого отдыха. Я, конечно, уже забросил свой университет и университетские занятия, продолжая для замаскировки числиться студентом, и весь ушел в революционную работу. Моей настоящей фамилии рабочие не знали, — я был для них про-

сто «Касьян» (моя кличка в революционных кружках), — предосторожность, как оказалось впоследствии, далеко не лишняя, так как (предатели нашлись и среди рабочих (напр., Василий Меркулов ¹⁾). По всей вероятности, этого «Касьяна» царские чиновники не отказали бы себе в удовольствии повесить, но они не могли поймать его, хотя усиленно разыскивали и хотя Лион сидел уже в Одесской тюрьме...

Группа рабочих постепенно увеличивалась и сделалась настолько развитой и сознательной, что когда я в марте 1878 года предложил им по поводу седьмой годовщины восстания Парижской Коммуны послать приветственный адрес парижским рабочим, то предложение это было подхвачено с восторгом. Адрес был тут же мною отредактирован, единогласно одобрен и послан немедленно через Швейцарию, где и был вскоре напечатан в революционной газете «Община» № 3/4. Об этом адресе упоминает Тун в своей «Истории революционного движения в России» (стр. 87, изд. 1917 г.): «Позднее, в 1878 году рабочий союз в Одессе праздновал даже годовщину Парижской Коммуны, бывшим членам которой был послан адрес». Вот текст этого адреса:

¹⁾ Василий Меркулов судился в 1882 году по процессу 20-ти народолюбцев вместе с Фроленко, Якимовой-Кобозевой, Морозовым, Лагансом, Сухановым, Колоткевичем, Баранниковым и друг., выдавал всех и за это был освобожден от наказания.

«Одесские рабочие, собравшись на сходку в достопамятный день провозглашения Парижской Коммуны, шлют вам, французские рабочие, свой пламенный братский привет. Мы работаем на своей родине для той же великой цели, для достижения которой погибло в 1871 г. на баррикадах Парижа столько ваших братьев, сестер, отцов, сыновей, дочерей и друзей. Мы трепетно ждем наступления той исторической минуты, когда и мы сможем ринуться в бой за права трудящихся против эксплуататоров, за торжество умственной, нравственной и экономической свободы. А пока у нас идет глухая, неравная борьба, в которой гибнут медленной мучительной смертью в тюрьмах и на торге наши лучшие люди, эти мужественные застрельщики святого дела народного освобождения. Вы правы были, когда в 1871 г. говорили, что сражаемся за все человечество: да, интересы всех народов так тесно связаны между собою, что торжество народа в одной стране немедленно повлечет за собою торжество народа во всем мире. Французские рабочие! Когда наступит время и вы снова поднимете красное знамя социальной революции, то пусть одушевляет вас то же самое героическое мужество и горячая любовь к человечеству, какие одушевляли борцов в 1871 г., но пусть для блага всего человечества победа увенчает на этот раз ваши многолетние труды».

Из этого рабочего кружка вышли вскоре некоторые выдающиеся революционные борцы, — при-

поминаю братьев Игната и Ивана Ивичевичей, которые в феврале 1879 года оказали вместе с другими геройское вооруженное сопротивление жандармам при аресте в Киеве. Вот как описывает это знаменательное и весьма характерное для того времени событие Дебагорий-Мокриевич в своих известных «Воспоминаниях» (стр. 376—378):

«К Ивичевичу собралась довольно большая компания с целью провести вечер. В передней послышался шум, отворилась дверь и показались жандармы. «Здесь живет г. Дебагорий-Мокриевич?» спросил Судейкин (жандармский адъютант). «Никакого Дебагорий-Мокриевича здесь нет», ответил Ивичевич. Тогда Судейкин захотел узнать, кто были они все. Но Иван Ивичевич вместо ответа схватил револьвер, который у него всегда лежал заряженный под подушкой, и подошел к дверям. За Иваном приблизился к дверям брат его Игнат и Брандтнер, тоже оба вооруженные револьверами. Кто сделал первый выстрел,—неизвестно; на суде вопрос этот остался неразъясненным, так как никто не помнил. Жандармы, как потом показывал на следствии сам Судейкин, были в панцях. Раздался залп с одной и с другой стороны. Унтер-офицер Казанкин, стоявший впереди, упал у самых дверей; пуля попала ему в лоб, несколько выше носа,—он был убит сразу. Судейкина ударила одна пуля в грудь, но панцырь спас его. В комнате, возле самой двери, упал раненый Иван Ивичевич, а за ним упал и брат его Игнат. Брандтнер

продолжал стрелять, хотя тоже получил рану. Кто еще стрелял из революционеров,—на следствии не было выяснено. Известно лишь, что в то время, как одни стреляли, другие уничтожали и жгли компрометирующие бумаги. «Ножами их, братцы!»,—кричал лежавший на полу Иван Ивичевич. Оба брата Ивичевичи были смертельно ранены и не могли уже больше подняться с земли...»

Кроме рабочих, мне приходилось еще заниматься с группой штундистов, живших в предместьях Одессы «Молдаванка». Это были менее развитые чернорабочие, ломовые извозчики, штукатуры, плотники; они были малограмотные, но развитее обыкновенных крестьян и сильно увлекались недавно возникшим тогда на юге России сектантским учением штундистов. Это учение придерживалось «чистого» евангельского учения, отрицало иконы, попов и всякие обрядности православной церкви; секта эта образовалась отчасти под влиянием знакомства с немцами-колонистами, отчасти в связи с теми течениями народной жизни, которые вообще питали церковный раскол. Наша задача по отношению к штундистам, как к людям сознательно-протестующим, состояла в дальнейшем их умственном развитии, чтобы сделать их сознательными сторонниками социальной революции. С этой целью я знакомил их с учением Маркса, читал им агитационные речи Лассалля, «Хитрую механику», «Сказку о 4 братьях» и т. п. Мы обратили особенное внимание на штундистов и усиленно занялись их

пропагандой и поддержанием связи с ними. Мы всецело разделяли распространенное тогда среди революционной интеллигенции убеждение, что раскольники представляют собою сознательную оппозиционную, анти-правительственную силу, численностью около 10 миллионов человек, готовую чуть ли не каждую минуту встать во главе социальной революции. Это оказалось впоследствии глубокой ошибкой, объясняемой, с одной стороны, слабым знакомством с историей и с народным бытом, а с другой стороны, тем обстоятельством, что марксизм в то время еще только начинал проникать в сознание революционной интеллигенции и мы еще не понимали, что революционному социализму не по пути с религией, что они противоположны друг другу, как огонь и вода, что раскол — это такая же застывшая, окаменевшая форма религии, как и все разновидности христианской религии — православие, католичество, протестантство и т. п. Но тогда многие из нас, если не большинство, считали евангелие, Христа и евангельских апостолов чуть ли не предтечами революционного социализма. Мирные пропагандисты, как лавристы, так и землевольцы, видели в них чуть ли не свой идеал и образец и шли на каторгу за хранение экземпляра какой-нибудь «Хитрой механики», как на завидное, почти желанное мученичество. Цитаты из евангелия играли тогда большую роль в речах мирных пропагандистов и в нелегальных книжках... Как бы то ни было, но из

штундистов, сколько помню, нам удалось вырабатывать несколько сознательных, полезных революционеров.

На ряду с этим не мало времени посвящалось мною пропагандистской работе среди учащейся молодежи, представлявшей весьма благодарный, восприимчивый материал. Эта молодежь в общем была настроена не только оппозиционно, но и революционно; она нуждалась лишь в указании ей определенного революционного пути, определенной программы действий. Она вся была — самоотверженный, безудержный порыв на благо трудящихся масс, на освобождение их от экономического и политического гнета и рабства; она беззаветно готова была всякую минуту идти за этот народ на какие угодно жертвы, страдания, лишения и на мученическую смерть, но... у нее не было достаточных знаний; она не знала не только Западной Европы, но и своей собственной страны, — ни истории, ни современного положения, — знакомство с ними было слишком поверхностное. Столь же слабое представление имела она о научном социализме, о законах политической экономии и т. п. Она знала только, что народ страдает, что необходимо немедленно помочь ему и что единственный способ помочь, это — социальная революция. И самым жгучим вопросом, волновавшим умы молодежи, было: «как же произойдет эта социальная революция? и что будет на другой день после социальной революции? И как все это устроится?». В этой плос-

кости и велись мои беседы с молодежью, которую я старался ознакомить с главнейшими этапами западно-европейского пролетарского движения, с блестящею агитационно-организаторскою деятельностью немецкого вождя и оратора Лассалля, с учением Карла Маркса, с основными положениями политической экономии по Миллю — Чернышевскому, с революционными программами Лаврова (журнал «Вперед»), Бакунина («Государственность и Анархия»), Ткачева («Набат»). С современным положением крестьянской массы я знакомил молодежь по напумевшей тогда замечательной книжке проф. Янсона «Опыт статистического исследования о крестьянских наделах и платежах». Эта на вид скромная и сухая книжка своими цифровыми данными открыла нам глаза на всю ужасающую фальшь совершенного Александром П «освобождения» крестьян от... земли и на причины невыносимо-тяжелого экономического положения крестьянских масс, их быстро прогрессирующего обнищания и обезземелия, столь же быстрого роста фабрично-заводского пролетариата и все учащающихся неурожаев и случаев голода, завершившихся всем памятным Самарским голодом 1873 года. Кстати сказать, потрясающие рассказы и газетные корреспонденции об этом голоде врезались неизгладимо на много лет в умы и сердца молодежи и сыграли громадную роль в ее революционизировании.

Сознание «неоплаченного долга» пред народом, которое так мучительно и неотступно терзало русскую

интеллигенцию 70-х годов, и было одним из главных толчков к великому «хождению в народ». Это прямо-болезненное сознание достигло высшей точки под влиянием кошмарных картин Самарского голода: как, в самом деле, можно спокойно жить, спокойно учиться, даже есть и спать в то время, когда целые волости и уезды, сотни тысяч наших ближних, мужчин, женщин и детей умирают буквально от голода? Преступно медлить, преступно учиться, — не до науки и не до университетских дипломов теперь! Скорей в народ! скорей поднять его на кровавое, беспощадное восстание, на социальную революцию, чтобы раз навсегда покончить с вековыми страданиями и с вековым рабством!.. Но, увы! это массовое стихийно-революционное «движение в народ» лучшей, беззаветнейшей части нашей интеллигенции уже к 1875 году разбилось о гранитную, глухую стену непроницаемого равнодушия и тупости тех самых крестьянских масс, во имя спасения которых, не задумываясь, шла на гибель с энтузиазмом вся эта молодежь.

Беспощадно, с чисто-азиатской свирепостью расправилась с нею самодержавно-царская жандармерия... Тогда наступило отрезвление, и мы начали понимать, что без науки, одним «путром» ничего не поделаешь: нужно знать законы истории и политической экономии, нужно основательно изучить прошлое и настоящее трудовых масс, наших и западно-европейских, нужна твер-

дая, глубоко-обдуманная, научно-обоснованная программа, идеология и тактика,—словом, нужны знания, знания и знания... но, в то же время, надо спешить, народ страдает, он ждать не может, он истекает кровью... И мы, революционная интеллигенция, стали учиться и учить, держа в одной руке Маркса или Чернышевского, в другой—«Хитрую механику» или Бакунина, а потом—в одной руке Лассалля, а в другой—револьвер и кинжал... Неудивительно, что мы работали чуть не по 24 часа в сутки и что когда попадали, наконец, в тюрьму, то первое время смотрели на это чуть ли не как на желанный отдых. В тюрьме же мы пополняли наш скудный запас научных знаний,—тюрьма была для нас своеобразным курортом и университетом, потому что спокойно отдыхать и заниматься науками—эту роскошь мы считали себя вправе позволить себе только... в тюрьме, когда наши руки и ноги были связаны и нам больше ничего не оставалось делать. Такова была самодержавная российская действительность, пожиравшая ежедневно лучшие силы интеллигенции, а впоследствии и пролетариата, и крестьянства...

Вот почему не малую долю деятельности революционных кружков составляла организация правильных сношений с политическими заключенными, в виде правильной конспиративной переписки с ними и материальной их поддержки. В одесской тюрьме у нас был подкупленный надзиратель, который за небольшую плату (около 12 руб. в месяц)

доставлял нам письма от наших товарищей-пленников самодержавия и наши письма к ним. Письма эти были шифрованные ¹⁾ и, кроме того, писались невидимыми химическими чернилами на чрезвычайно-тонкой «конспиративной» бумаге. Они представляли в малом объеме большое содержание и заключали в себе взаимные подробнейшие инструкции, размышления, советы, указания, иногда планы побега и т. п. Перепиской этой заведывал специально кто-либо из членов кружка, который один только и имел дело с этим надзирателем, встречаясь с ним в определенные дни и часы в условленном месте, раза три в неделю. Эта переписка, помимо своей пользы и даже необходимости для революционной деятельности, была в то же время истинной отрадой для узников, изнывавших в бездействии и тоске в одиночных мрачных камерах Одесской тюрьмы. Для них неизвестность о событиях внешнего мира и о деятельности своих товарищей, оставшихся на свободе, была бы наиболее нестерпимым из всех выпавших на их долю страданий и мучений... Я оценил это должным образом, когда сам очутился в одиночке с Одесской тюрьмы и почувствовал известное удовлетворение от сознания, что до ареста я в течение нескольких месяцев заведывал сношениями с заключенными.

Вспоминая теперь те могучие условия, которые в эпоху «хождения в народ» толкали молодежь

¹⁾ Написанные какими-либо заранее условленными знаками.

на революционный путь, я должен отметить, что большую роль сыграли в этом отношении политические процессы, специально разыгранные «либеральным» царским правительством с большою помощью и... с большою смелостью. Первым по времени большим политическим процессом, происходившим в обстановке нового «гласного» суда с выющенными «либеральными» прокурорами, с видимостью защиты, был процесс нечаевский; газеты того времени печатали подробнейшие стенографические отчеты, с жадностью читавшиеся и производившие впечатление, прямо противоположное тому, на которое рассчитывало правительство «царя-освободителя». Смелые речи обвиняемых, которые беспоощадно разоблачали половинчатую и уродливую реформу «освобождения» крестьян и рисовали бедственное положение трудящихся масс, производили громадное впечатление, сорвали либеральную маску с Александра II и нанесли сильный удар тому ореолу гуманности, которым еще был окружен этот, в сущности, типичный представитель жестокой Романовской династии...

Но нечаевский процесс был только началом; кроме того, некоторые отрицательные стороны нечаевской организации и деятельности этого кружка, — пускание пыли в глаза своим же товарищам и убийство заподозренного в измене члена кружка Иванова, — произвели неблагоприятное впечатление в широких кругах. Гораздо сильнее впечатление произвел

большой процесс московских пропагандистов, так называемый «процесс 50-ти», — Бардиной, Любатович, Лидии Фигнер, Джабадари, Петра Алексеева, трех сестер Субботиных, Бети Каминской и др. Кристальные образы этих самоотверженных героев «хождения в народ» из среды изнеженной интеллигенции, поступавших на фабрики в качестве простых чернорабочих и работавших там по 12 часов в сутки, чтобы, заручившись доверием рабочих и работниц, вести среди них революционную пропаганду. Их смелые речи на суде производили потрясающее впечатление, особенно в связи с свирепым приговором, — в виде каторжных работ, — который новый «гласный суд» царских чиновников не колебался обрушить на эти мученические головы.

Значительно ранее «процесса 50-ти», а именно летом 1874 г., разбирался процесс «долгушинский», — первый, в сущности, процесс мирных пропагандистов, пошедших в народ, в деревни, с несколькими прокламациями в руках, чтобы поднимать крестьянские массы на всенародное восстание против помещиков и господ. Участники процесса были приговорены к каторжным работам, которые они отбывали сначала в Ново-Белгородской центральной тюрьме, Харьковской губернии, «централке», где они содержались в строжайшем одиночном заключении и где двое из них погибли¹⁾.

¹⁾ Плотняков сошел с ума; Гамов умер.

Эту «централку» Долгушин, еще отбывая каторгу, описал в своей брошюре «Заживо-погребенные». Могу засвидетельствовать по личному впечатлению и наблюдению, что чтение этой замечательной и жуткой брошюры, в которой широкие круги впервые ознакомились с кошмарными ужасами новоизобретенных «централок», производило на нас всех потрясающее впечатление и сыграло немалую роль в деле изменения тактики революционных кружков в сторону террористической деятельности взамен мирной пропаганды.

Но самое сильное впечатление произвел грандиозный процесс 193-х, разбиравшийся в Петербурге в «Особом Присутствии Правительствующего Сената» в течение 4-х месяцев (с октября 1877 по январь 1878 года). Процесс этот представлял собою крайне драматический конец «хождения в народ», начатого в 1874 году и пресеченного вскоре громадными массовыми арестами. Обвиняемые сумели талантливо и героически, не щадя себя, использовать скамью подсудимых, как всенародную трибуну для пропаганды своих социалистических и революционных идей, потрясая своими страстными речами нерихонские стены экономического и политического рабства царской России. Эти неслыханные дотоле речи литографировались подпольно во множестве экземпляров, с жадностью читались в широких кругах «общества» и особенно в революционных кружках, и производили огромное впечатление.

Не меньшее впечатление, чем речи подсудимых на суде, производили рассказы выпущенных из тюремных одиночек до суда, привлекавшихся по процессу 193-х, об ужасах многолетнего одиночного заключения. Помню, например, рассказ об этом Ланганса, приехавшего в Одессу вскоре после своего освобождения из тюрьмы и вскоре вновь вступившего на тернистый путь подпольного революционера, несмотря на зачатки туберкулеза, полученного в результате многолетнего тюремного заключения¹⁾.

3. Революционные кружки.

Впервые я пришел в соприкосновение с одесскими революционными кружками через своего товарища по университету, студента Желтоновского, который оказал в этом отношении на меня сильное влияние. Он окончательно рассеял бродившие в моей душе сомнения о возможности и необходимости немедленной социальной революции, как единственного способа покончить с эксплуатацией человека человеком, с вековыми человеческими бедствиями, страданиями и угнетениями. Приняв окончательное решение стать на революционный путь, я в дальнейшем не знал уже никаких колебаний и сомнений, и ничто уже не могло ни убедить меня своротить с раз избранного пути, ни

¹⁾ В 1882 году он судился по процессу 20-ти народовольцев, был приговорен к каторге, но через год умер в Алексеевском равелине.

устрашить. Я помню слезы матери, сердитые угрозы отца, любящие доводы старшего брата, умолявших меня пожалеть их и себя, бросить опасный путь «утопических бредней», заранее осужденных на поражение. — «Путь этот, — говорили они, — ведет прямою дорогою к каторге, а то и к виселице», тогда как мне предстояла адвокатская карьера; но я был неумолим и непоколебим...

В то время революционные кружки не имели никакого устава; вхождение в кружок совершалось путем рекомендации кого-либо из старых членов; вся конспирация заключалась в том, что фамилии членов тщательно скрывались, — каждый был известен под какой-либо кличкой, и эта нехитрая конспирация куда была надежнее всяких уставов и клятв. Меня сейчас же окрестили «Касьяном»; под этой кличкой знали меня все члены кружка и все соприкасавшиеся с нами рабочие, интеллигенты и сочувствующие, среди которых мы вели революционную пропаганду и работу. Эта же кличка, как я уже выше упомянул, спасла меня от суда и виселицы, потому что жандармерия до конца так и не узнала, кто именно под этой кличкой скрывается, и усиленно разыскивала таинственного «Касьяна»... Это я знал, сидя в Одесской тюрьме, но чего я не знал ни тогда, ни много лет спустя, так это истинной причины моей административной ссылки в Восточную Сибирь. Официальная же причина (как и в отношении целой массы других лиц, высланных из Одессы) выражена была

в поистине-классической для царского самодержавия, замечательной фразе, одинаковой для всех, следующего содержания: «несомненно принадлежит к социально-революционному сообществу, но за неимением улики ссылается в Восточную Сибирь»... И лишь 27 лет спустя, в 1906 году, я узнал из статьи журнала «Былое» (за август, «Письмо Курицына и ответ на него редакции», стр. 273—286), кому я был обязан своею многолетней ссылкой. Оказалось следующее.

До ареста моего и моих товарищей в Одесской тюрьме содержался только один политический — это был студент Харьковского ветеринарного института Федор Курицин, который сидел в одиночном заключении уже второй год под следствием. Он обвинялся в участии вместе с Львом Дейчем и другими в известном покушении на убийство шпиона Горюновича и в принадлежности к революционному сообществу; содержался Курицин в одной из тюремных бащен. Понятно, что все мы, только-что попавшие в тюрьму, относились с большим уважением и доверием к этому тюремному старожилу и страдальцу, и на его естественные вопросы о каждом вновь прибывающем политическом Курицину давалась краткая характеристика. Скоро после этого Курицин поддавался на искушение жандармов и, чтобы вырваться на свободу, стал выдавать всех, кого мог, — даже тех, кого лично никогда не видел и не знал. Он писал из тюрьмы еженедельные подробные предательские донесения, в которых он

Предал Лизогуба, Волошенко, Попко, Дробязгина, Малинку, Дейча, Стефановича, Владимира Дебагория-Мокриевича, Савелия Златопольского, Валериана Осинского и некоторых других, «которые, по донесению Курицына, не принадлежали к кружку Лизогуба, тем не менее находились с ним в близких отношениях». В числе этих лиц Курицын указал и на меня, дав мне следующую характеристику: «Лион принимал близкое участие во многих революционных делах». Очевидно, что, к моему благополучию, Курицын не мог сообщить обо мне ни одного факта и даже не узнал моей клички. Вот чем объясняется примененная ко мне шаблонная формула: «несомненно принадлежит», «но за неимением улик»...

Первые сведения о предательстве Курицына были опубликованы в 1893 году в Женеве в появившейся там биографии Попко, присланной с каторги известным одесским революционером Р. А. Стеблин-Каменским, в конце которой он призывает к кровавой мести по отношению к Курицыну. «Кому суждено увидеть родину, пусть такой счастливец, прежде чем облобызывать родную землю, прежде чем обнять дорогих, близких сердцу людей — пусть вспомнит, что убийца Лизогуба, Малинки, Дробязгина и многих других еще жив!»... Не прошло и года после упомянутой статьи в журнале «Былое», как Курицын, занимавший в то время должность губернского ветеринар-

ного инспектора в Ташкенте, был убит выстрелом из револьвера в своем кабинете одним революционером ¹⁾.

Хотя никаких уставов и формальностей в революционных кружках не практиковалось, но к приему в кружки относились достаточно строго, и серьезных дел «новичку» не поручалось. Постепенно, по мере выполнения им разных, все более и более ответственных поручений, укреплялось доверие к этому члену кружка. Главную роль играли обыкновенно жившие уже на нелегальном положении, как испытанные борцы, так сказать, старожилы революции, хотя эти «старожилы» тоже были очень молоды. Дело в том, что средняя «продолжительность жизни» революционера была обыкновенно год или полтора, а затем следовала тюрьма и каторга, если не виселица, — в редких случаях административная ссылка. Немногие счастливо уцелевшие от ареста переходили на нелегальное положение, которое, как это ни странно, давало возможность дольше времени оставаться на свободе, продолжая свою революционную борьбу.

К числу таких старожил в нашем кружке, с которыми я лично встречался, принадлежали: Ковальский Иван Мартынович, Волошенко, Григорий Попко, Владимир Дебагорий-Мокриевич и его гражданская жена Маруся Ковалевская. На них всех в описываемый период сильно отражалось пе-

¹⁾ Курицын убит социалистом-революционером Гринбергом.

реломное настроение, т.е. разочарование в мирной деревенской пропаганде и нащупывание другого, более действительного пути к социальной революции. Ковальский уже твердо и бесповоротно наметил свой путь: вооруженные нападения на особенно зловредных представителей власти и, как неперменное правило, обязательное вооруженное сопротивление при аресте.

Волошенко, отличавшийся широким кругозором и большою начитанностью, был, так сказать, теоретиком кружка; я так и вижу пред собою его коренастую фигуру с умной головой, плотно посаженной на короткой шее, выразительными, несколько ироническими глазами, и слышу его твердую, спокойную, убедительную, чеканную речь; ему было лет 30.

Попко, сын казачьего генерала, в котором, однако же, не замечалось никаких признаков генеральского происхождения, был шатен, высокого роста, очень худощавый, с впалой грудью, лет 28. Обладая беззаветной храбростью, молчаливый и сосредоточенный, он в то же время проявлял замечательное хладнокровие и находчивость в решительные моменты; необычайно симпатичный и умный, Попко, вместе с тем, был чрезвычайно скромн, почти застенчив. Он вместе с Валерианом Осинским был одним из первых по времени террористов, и это он совершил 25 мая 1878 г. замечательное убийство жандармского адъютанта, барона Гейкинга в Киеве.

Я живо помню, как через несколько дней после этого убийства, когда мы в Одессе еще не знали, кем именно совершон этот террористический акт, Попко картинно и с большим увлечением рассказывал мне все драматические, захватывающие подробности этого исторического события.—Он, выследив Гейкинга, настиг его ночью на улице возвращающимся откуда-то домой в компании с редактором «Киевлянина» Шульгиным, ударил Гейкинга кинжалом в спину и, когда Гейкинг упал, бросился бежать. За ним вскоре, вследствие поднятой Шульгиным тревоги, погнались городовые и дворники, и ему пришлось выстрелить в упор в одного из дворников, который чуть-было не поймал его, и убил его на повал; другим выстрелом ранил настигавшего его городского. Наконец, перепрыгнув через какой-то забор на пустыре и выбившись совершенно из сил, прилег за этим забором, не будучи уже в состоянии ни бежать, ни сопротивляться, и готовый сдаться без боя. Но погоня из городских и дворников пробежала с фонарями в очень близком от него расстоянии, не заметив его; и когда затихли шаги удалявшейся погони, он поднялся и измученный добрался до конспиративной квартиры, где жил в то время Дебагорий-Мокриевич и бывали Осинский, Волошенко и другие... Когда в 1879 году Военный суд в Одессе судил Попко вместе с некоторыми другими за принадлежность к социально-революционному сообществу, против

него не было решительно никаких улик, если не считать того многозначительного (по тому времени) факта, что при нем оказался заряженный револьвер. К этому присоединилась имевшаяся в распоряжении суда, но не оглашенная на суде, выписка из «донесения» в департаменте полиции вышеупомянутого предателя Федора Курицына, рисовавшего Попко как выдающегося революционного деятеля, но не смогшего указать ни одного конкретного факта. Всего этого не было достаточно, даже в глазах Военного суда того времени, чтобы повесить Попко, но вполне достаточно, чтобы послать его в бессрочную каторгу. Там он, после неудачной попытки к побегу из Иркутской пересыльной тюрьмы вместе с Волошенко, Фомичевым и другими, скончался чрез несколько лет, не выдержав всех ужасов каторжного режима на Карийских рудниках...

Маруся Ковалевская была самой выдающейся из всех женщин Одесского кружка. Она давно уже была на нелегальном положении и к началу 1877 года переехала из Киева в Одессу, имея уже большой революционный опыт. Смуглая хохлушка лет 28, привлекательной наружности, с жгучими черными глазами, с симпатичным грудным голосом, с несколько резкими, нигилистичными манерами, — она была, так сказать, главою женской половины кружка, в который в то время входили молодые, только начинавшие свой революционный путь девушки, в роде Лизы Южаковой, Галины

Чернявской и других. В то же время Маруся Ковалевская пользовалась очень большим политическим влиянием и среди мужчин одесского и киевского кружков, будучи в товарищеских отношениях со всеми главарями, со всеми ими она была на «ты». Не удивительно, что Маруся Ковалевская, при ее революционном опыте, большом уме, безграничной храбрости и преданности делу революции, играла крупную роль в обоих кружках, и что ни одно революционное предприятие не проходило без ее ведома или участия, в большей или меньшей степени. В квартире ее постоянно жило и толкалось не мало народа; всякий революционер находил в ней радушный товарищеский приют, что было особенно важно для нелегальных...

В этом же кружке я встречался и с Валерианом Осинским весной 1878 года, когда он один из первых вступил на путь террора. Он производил обаятельное впечатление во всех отношениях. Высокий, стройный шатен, изящно одетый, в пенсне, с изящными манерами, он даже самой наружностью и внешним видом как бы олицетворял новое революционное течение, являя резкий контраст с той нигилистичей революционной средой, к которой принадлежали мирные пропагандисты. Живой, умный, беззаветно храбрый, он был как бы подхвачен неотразимым потоком хлынувшего революционного террора и, в свою очередь, увлекал других на этот новый исторический путь.

Покушение на убийство не в меру ретивого товарища прокурора Котляревского в Киеве было делом его рук, равно как ему же принадлежала идея создания «Исполнительного Комитета Русской Социально-Революционной Партии», члены которого должны были посвятить себя террористической борьбе с самодержавным правительством, дабы очистить путь для сколько-нибудь плодотворной революционной пропаганды и деятельности. Он же с несколькими товарищами (Попко, Волощенко) изобрел особую печать для «Исполнительного Комитета» овальной формы с изображением скрещивающихся между собою револьвера и кинжала, — тех двух смертоносных орудий, с которыми ни один террорист не расставался тогда ни днем, ни ночью, всегда имея их с собой за поясом или в кармане (о динамите еще в то время не помышляли). Печать эта, — вначале довольно грубой, аляповатой работы, — прикладывалась ко всем прокламациям, выпускавшимся от имени «Исполнительного Комитета» по поводу каждого террористического акта. Живые примеры Валериана Осинского и Попко действовали настолько заразительно на многих членов нашего кружка, что почти все мы принялись усердно упражняться в стрельбе в цель из револьверов, для чего чуть не ежедневно отправлялись небольшими группами за город и по нескольку часов стреляли в поставленную мишень. Вскоре я уже умел отлично попадать в цель на далеком расстоянии, хотя раньше понятия не имел о револьвере...

4. Софья Григорьевна Рубинштейн.

Многие из нас понимали, что для борьбы с самодержавием мы тогда представляли слишком маленький авангард, что народные массы, для которых и во имя которых мы вступили на путь революционной борьбы за торжество социальной революции, еще слишком малосознательны, чтобы оказать нам какую бы то ни было поддержку. Поэтому мы считали очень важным иметь «сочувствующих», искать поддержки среди влиятельных кругов так называемого «общества», т. е. среди либеральной буржуазной и помещичьей интеллигенции и среди либеральной и либеральствующей бюрократии, которых мы в то время называли кратко «либералами». Царизм уже в то время не пользовался популярностью, и быть «либералом» считалось признаком «порядочности». Поддержка либералов была для нас очень важна и в узко-практическом, техническом отношении: у кого, как не у «либерала», можно было укрыться нелегальному революционеру в минуты грозившей опасности ареста, у кого, как не у «либерала», спрятать нелегальную литературу и т. п.? Но еще, пожалуй, важнее была их роль в отношении денежной поддержки. Профессиональные революционеры, большей частью, не обладали никакими средствами, порвав связь с своими богатыми родными или же сами принадлежа к пролетариату фабричному

или интеллигентскому. Такие богатые революционеры, как помещик Дмитрий Лизогуб, пожертвовавший все свое значительное состояние, вместе с жизнью на дело революции, представляли счастливое исключение, а между тем деньги нужны были повседневно и часто до зарезу.

Надо было поддерживать «профессиональных» революционеров, в особенности нелегальных, помогать пленникам царизма, томившимся в тюрьмах и ссылке, на устройство их побегов, на организацию революционных поселений (напр., знаменитое Чигиринское дело), террористических актов. Нужда в деньгах была постоянная, так что в минуты острых денежных кризисов часто обсуждался вопрос о каких-либо особых способах их добывания, возникала даже время от времени мысль об изготовлении фальшивых денег, но всякий раз категорически отвергалась, как влекущая материальные жертвы для ни в чем неповинных частных лиц. Этой нуждой и объясняются такие факты, как известный, удачный подкуп в херсонском казначействе, совершенный М. Ф. Фроленко, и недоконченный по его вине подкуп в кишиневском казначействе. И вот в этом отношении либералы весьма охотно оказывали нам ценную поддержку.

Среди таких либералов в Одессе видную роль играла выдающаяся женщина Софья Григорьевна Рубинштейн, родная сестра знаменитых пианистов Николая и Антона Рубинштейнов.

Широко образованная, она горячо интересовалась революционным движением, но не имела мужества играть активную роль, т.-е. riskовать каторгой или даже жизнью; она ограничивалась тем, что помогала революционерам сбором денег и своими большими связями в обществе. Замечательно, что, имея, казалось бы, полную возможность жить на средства своего брата, знаменитого пианиста и композитора Антона Григорьевича Рубинштейна (Николай Рубинштейн умер несколькими годами раньше), она никогда не пользовалась его материальной помощью, а жила уроками пения (она была первоклассная учительница пения), работая неутомимо, получая хорошую плату (рублей пять в час) и держа свою симпатичную старушку-мать; так они и жили вдвоем. В то время Софье Григорьевне было лет 35; она была не замужняя, и таковой осталась до конца жизни. Я живо помню ее еженедельные вечера, на которых собирались и либералы, и революционеры, легальные и нелегальные; мать разливала чай, а гости как-будто мирно его попивали, заедая весьма скромными закусками, в роде колбасы и т. п. Часов в 11 старушка уходила на отдых, и тогда начинались более деловые разговоры. Мать едва ли знала о настоящем характере этих собраний и гостей; ее наивность была прямо очаровательна. На этих вечерах у Софьи Григорьевны перебивали чуть ли не все революционеры, жившие в Одессе или ее посещавшие; тут бывал

и Жолябов, и Тригони, и Осинский, и многие другие. Вокруг Софьи Григорьевны группировались все выдающиеся местные либералы, но об этих вечерах знали только посвященные и их старались держать в секрете. Только этим можно объяснить тот факт, что, когда летом 1879 года были разгромлены все революционные организации, а все видные либералы были сосланы в административном порядке в Сибирь, одна только Софья Григорьевна уцелела среди всеобщего крушения.

После моего ареста и последовавшей за ним многолетней ссылки я совершенно потерял из виду Софью Григорьевну. Прошло с тех пор много лет, и вот незадолго до февральской революции, живя уже в Москве, я случайно прочел в газетах объявление, что «преподавательница пения Софья Григорьевна Рубинштейн дает уроки». Это скромное объявление воскресило в моей памяти революционную Одессу конца 70-х годов и мою юность. Мне страстно захотелось повидать эту «преподавательницу пения», и через несколько дней я с сильно бьющимся сердцем вошел в ее скромную квартиру. Я застал ее варившей себе собственноручно кофе и сразу узнал ее, хотя со времени нашего последнего свидания прошло почти сорок лет: такая же высокая, осанистая, такое же симпатичное лицо, только голова совсем поседела. Она пристально-вопросительно посмотрела на меня и на мой вопрос: «узнаете ли меня, Софья Григорьевна?» ответила сразу: «Касьян?!». И мы погрузились в вос-

поминания о далеко-минувших днях, говорили о живых и мертвых, изменившихся и неизменных...

Больше мне уже не пришлось ее видеть; скоро после этого я с грустью прочел в той же газете («Русское Слово») объявление, что в ночь на 31 декабря внезапно скончалась Софья Григорьевна Рубинштейн... Много либералов и сочувствующих знало революционное движение семидесятых годов, но таких преданных, правдивых, искренних, мужественных и стойких, как Софья Григорьевна, едва ли сыскать... Это была женщина кристальной чистоты, пожертвовавшая своей личной жизнью, личным счастьем для посильной помощи торжеству тех идей, за которые боролись, шли на каторгу и виселицу лучшие люди ее времени: она ими восторгалась, она им завидовала, она им помогала, но активно бороться в их рядах она чувствовала себя не в силах... Память о ней не должна быть забыта.

5. Одесская тюрьма.

Сидение в полицейском участке, благодаря клопам, до того истерзало меня (я не мог ни спать, ни есть), что, как это ни странно и ни дико, я вздохнул как бы с облегчением, входя в тюремные ворота, которые, как оказалось впоследствии, надолго отрезали меня от всего живого мира. Меня поместили в мрачную, но большую комнату нижнего этажа, с каменным истертым полом, низким

От пропаганды к террору.

каменным сводом, двойною железною дверью и единственным окном, забранным железною решеткою, без стекол; один часовой стоял у моих дверей в коридоре, а другой у окна, выходившего на тюремный двор. Такая сугубая охрана моей хрупкой особы объясняется тем тревожным настроением, которым в то время были охвачены жандармско-полицейские власти вследствие вооруженной демонстрации на Гулевой улице и начавшейся террористической деятельности «Исполнительного Комитета». Странное, жутко-радостное ощущение охватило меня, когда я очутился в этой большой железной клетке и запахал по ее древнему каменному полу после того, как мрачный тюремный надзиратель запер за мною массивные железные двери тяжелыми засовами и огромным ключом. Вот я здесь, важный государственный преступник, страдаю за народ, сделал для него что мог, на совести как-то легче. Правда, народ страдает попрежнему, но и я страдаю, — страдаю и тем самым искупаю свой долг, своей неоплатный долг пред многострадальным народом... И почти всю ночь шагал я взад и вперед по своей камере, волнуемый этими мыслями, среди могильной тишины погруженного в сон тюремного замка. Время от времени, чрез каждые два-три часа, раздавались в коридоре тяжелые шаги сменяющихся часовых и стук ружейных прикладов и слышались слова разводящего: «один арестант, одни двери»...

Заснул я поздно, а рано утром с грохотом

отворилась дверь моей камеры и вошла утренняя «поверка» в лице дежурного помощника смотрителя и коридорного надзирателя. Через несколько минут вошел уголовный арестант для уборки камеры и, делая свое дело, на ходу шепнул мне: «ваш сосед «Капитан» спрашивает вашу фамилию», — я сказал ему. Эти слова были точно лучом света, ворвавшимся в мою мрачную камеру через все запоры и засовы: значит, я не один, есть тут товарищи, с которыми можно сноситься... В обед тот же уголовный принес мне записку от «Капитана», в которой заключалось предложение перестукиваться с ним после вечерней поверки чрез разделявшую наши камеры каменную стену. Тут же излагался алфавит перестукивания; и с того же вечера мы с ним перестукивались ежедневно целыми часами. Хотя решетчатые окна наших камер, выходившие в тюремный двор, оставались незастекленными до поздней осени, чуть ли не до ноября, и чрез эти окна можно было бы свободно разговаривать, только повышая сильно голос, но ходивший вдоль окон часовой большей частью запрещал разговаривать, угрожая стрелять.. До сих пор помню такой случай в один из первых же дней после водворения моего в камеру. Я заговорил вечером через окно с «Капитаном», как вдруг раздается суровый окрик часового, с хохлацким акцентом: «Чего шумишь, нэ шумь!». Я взглянул в лицо часовому, — молодой солдатик, но враждебное выражение глаз

не предвещало ничего доброго. Я попробовал не обратить внимания и продолжал разговор, но он пригрозил стрелять, и пришлось прекратить эту попытку и заменить ее ночным перестукиванием. Этот маленький инцидент с молоденьким солдатиком из народа навел меня на грустные размышления о темноте народной: имеет ли народ в лице этого солдатика какое-либо представление о том, кто сидит за этими мрачными решетками, или он уверен, что тут сидят ужаснейшие убийцы, воры и тому подобные тяжкие уголовные преступники?.. Это «на шум!» долгие месяцы и годы спустя зловеще звучало в моих ушах, напоминая о силе самодержавия, которого «мирной пропагандой» не прошибешь. Только сидя пленником в тюрьме, я стал осознать, так-сказать, всю силу врага и еще более укрепляться в мысли о правдивости и целесообразности избранного террористами пути... Но я должен пояснить, кто был этот «Капитан».

Это была конспиративная кличка Сергея Чубарова, выдающегося члена-старожила киевского кружка, в который входили в разное время, начиная с 1874 года, Дебаторий-Мокриевич, Маруся Ковалевская, Дейч, Стефанович и другие. Чубарову в это время было лет 35, происходил он из дворянско-помещичьей среды, но всею душою отдался революционному движению и уже несколько лет жил нелегально. Из всех политических заключенных, сидевших в мое время

в Одесской тюрьме, Чубаров отличался наибольшей невозмутимостью и хладнокровием, переходившими в веселую беззаботность. Любимым его занятием было рассказывать разные остроумные анекдоты, до которых он был большой охотник и мастер, доставляя своим соседям по камере много веселых минут... Чрез несколько дней, когда мне казалось, что я совершенно отрезан от внешнего мира, ко мне в камеру чрез проделанный в железной двери «глазок» заглянул дежурный надзиратель (ключник) и, тихонько подозвав к себе, протянул крохотный бумажный комочек и исчез. Развернув этот комочек, я увидел, что он состоял из нескольких листочков тончайшей папиросной бумаги, мелко исписанной условным шифром; это было письмо с «воли» от одного из уцелевших молодых членов нашего кружка.

В письме сообщались подробные сведения о состоянии и деятельности нашего кружка и всевозможные революционно-политические сведения и новости. Нечего и говорить, как я был счастлив, читая эти дорогие строки, и какой прилив бодрости я почувствовал. Когда сквозь все зазоры и затворы, несмотря на высокие тюремные стены, и сквозь строй всех часовых получаешь от своих друзей и соратников подобные шифрованные письма, то чувствуешь, что ты далеко не один, что за тобою — сила и сила не малая, что враг вовсе не так страшен, что есть кому продолжать твое дело и что гибель твоя не будет напрасна... Всю

ночь напролет я писал ответное шифрованное послание, в котором, между прочим, горячо убеждал своих товарищей на воле не падать духом и продолжать наше революционное дело до конца, указывая на необходимость более строгой дисциплины и конспирации. Враг силен и организован, а мы небрежны и халатны и гибнем часто вследствие слабости дисциплины, недостаточной организованности и халатности; в особенности я настаивал на необходимости террора и царубийства... И чем дальше текли мои тюремные дни и углублялись мои долгие ночные тюремные размышления, тем все более и более я убеждался в необходимости энергической террористической борьбы с царизмом на жизнь и смерть...

Шифрованная переписка с товарищами на воле продолжалась регулярно и непрерывно во все время моего годичного пребывания в тюрьме, несмотря на то, что многие из товарищей один за другим выбывали из строя и попадали в ту же тюрьму, все больше и больше пополняя число политических узников. Из числа их, сколько припоминаю, наиболее выдающиеся были: Виктор Малинка, Иван Дробязгун, Иосиф Давиденко, Григорий Фомичев.

Малинка — сын богатого помещика, лет 25, студент-юрист, высокий красивый брюнет, был арестован по обвинению в покушении на убийство известного шпиона, члена киевского кружка, Николая Гориневича, совершенном в Одессе в 1876 г.

совместно с Львом Дейчем. Малинка был человек с сильным характером, глубоко преданный делу революции и чрезвычайно симпатичный; в этом я убедился из частых разговоров с ним во время тюремных прогулок, когда они нам были впоследствии разрешены. Его очень мучила мысль, что так мало удалось совершить ему и товарищам для революции вследствие ареста, и приписывал он это в значительной степени нашей халатности и неорганизованности. Он все мечтал о том, что когда ему удастся выйти на волю, то этих ошибок он уже не повторит. Увы! Могли он предвидеть, что чрез несколько месяцев, после неудачного покушения Соловьева 2 апреля 1879 года на жизнь Александра II ¹⁾, будет введено военное положение, которому будет придана обратная сила, и что его будут судить за преступление, совершенное еще в 1876 году, военным судом по законам военного времени! Ведь, только царизм, движимый зверской паникой или паническим зверством и уверенный в полной безнаказанности, мог решиться на подобное неслыханное вопиющее беззаконие. По приговору одесского военно-окружного суда 7 декабря 1879 года Малинка был повешен...

¹⁾ А. Соловьев был учителем в Торонце, а затем волостным писарем в Саратовской губ. Здесь он проникся революционными убеждениями и пришел к выводу о необходимости убийства Александра II. Он отправился в Петербург, вошел в сношения с террористами (Михайловым, Гольденбергом и др.) 2 апреля 1879 г. Соловьев сам, без участия других, произвел 5 выстрелов в гулявшего царя, но даже не ранил его. Пр. ред.

Дробязгин, также член киевского кружка, был небольшого роста, с рыженькой бородкой, лет 23, убежденный сторонник пропаганды в деревне путем устройства там деревенских поселений для подготовки вооруженных крестьянских бунтов, восстаний. Он начал свою революционную деятельность еще в 1874 году пропагандой среди штундистов Херсонской губернии вместе с И. М. Ковальским и сидел в Одесской тюрьме приблизительно с начала 1877 года. Вся его революционная деятельность заключалась в пропаганде, никаких террористических актов за ним не было; тем не менее и против него воспользовались военным положением, придав последнему обратную силу, судили военным судом и повесили вместе с Малинкой 7 декабря 1879 года.

Давиденко, несмотря на свою молодость (ему было не более 23-х лет), был уже испытанный революционер, так как начал свою революционную деятельность с гимназической скамьи. Маленького роста, тщедушный, он принимал большое участие в киевском кружке и вслед за многими другими членами этого кружка скрывался в Одессе, где и был арестован. К нему также было применено военное положение задним числом, и он был повешен в августе 1879 года одновременно с Лизогубом и «Капитаном» Чубаровым...

Прошло уже месяца три после моего водворения в тюрьму; наступили порядочные осенние холода, а окно моей камеры все еще оставалось не

застекленным. О положении моего дела и, вообще, о моей дальнейшей участи я не имел ни малейшего представления; я знал только, со слов навещавшего тюрьму время от времени помощника прокурора, что я числюсь за генерал-губернатором и что поэтому он, помощник прокурора, не может дать мне никаких сведений. Как я уже упоминал, на Соловьевское покушение, происшедшее 2-го апреля 1879 года, Александр II ответил немедленно объявлением военного положения почти во всей Европейской России и учреждением генерал-губернаторств с неограниченными полномочиями. Одесским генерал-губернатором был назначен знаменитый боевой генерал Тотлебен, прославившийся еще в крымскую кампанию 1856 года во время героической защиты Севастополя, а затем увенчавший себя лаврами во время только-что закончившейся войны с Турцией искусной осадой Плевны, которая была, наконец, взята только благодаря инженерным осадным работам Тотлебена. Но в Одессе Тотлебен был только генерал-губернатором по имени; ему в помощь был дан под видом делопроизводителя штатский генерал Панютин, человек-зверь, который достаточно проявил себя во время той же Турецкой войны тем, что в тылу сек сестер милосердия...

Я не знал в лицо ни Тотлебена, ни Панютина и даже, признаюсь, не имел ни малейшего представления о чинах и мундирах... Как-то днем, в неурочный час, в моем коридоре послы-

пались тяжелые многочисленные шаги и какая-то суета, раздался грохот открываемых засовов моей двери, звон ключа, тяжелая дверь распахнулась и в камеру вошел грузный, высокий, несколько сгорбленный сутуловатый человек, в черном фраке со звездой, с толстым бесцветным бритым лицом, изрытым морщинами. Не говоря ни слова, он каким-то тяжелым, мутным взглядом оглядывал мою камеру, ее мрачные стены, низкий сводчатый потолок, решетчатое окно; сзади него толпилась молчаливая свита полицейских и военных в парадных мундирах. За дверьми в темном мрачном коридоре виднелись суровые лица тюремщиков во главе с самим начальником тюрьмы с его характерной, высокой, толстой грузной фигурой, с красной, упитанной, злобной физиономией, на которой как бы застыла улыбка поддобострастия; видимо, вся свита трепетала... Не сомневаясь, что предо мною сам генерал-губернатор собственной персоной, и тицетно подождав несколько минут, чтобы он нарушил, наконец, свое тяжелое молчание, я приблизился к нему и спросил, кого имею честь видеть? «А - вам - на - что?» — процедил медленно в ответ мрачный буйвол в черном фраке, скользнув по мне мутным взглядом. «Я хотел бы узнать, в каком положении мое дело?». Помолчав с минуту, он еще раз окинул своим мутным взглядом мою камеру и как-то с расстановкой произнес: «вижу, - вам - здесь - хорошо - сидеть!» — и затем повернулся своей широкой спиной к двери, а за ним

покинула мою камеру и вся свита. Загремели засовы, звонко щелкнул замок и затихли удаляющиеся шаги... Потом я узнал, что это был не Тотлебен, а не более и не менее как... сам Панютин, который имел обыкновение не называть себя, чтобы думали, что это — генерал-губернатор, но который, в действительности, имел в своих руках всю полноту генерал-губернаторской власти, которою пользовался с бесчеловечностью жестокостью. Он совершенно не считался ни с Тотлебеном, ни с законами, ни с совестью, ни с честью, ни даже с здравым смыслом. Был, между прочим, такой факт, о котором впоследствии рассказывал мне очевидец. В приемную Тотлебена явилась одна дама, глубоко взволнованная, с заплаканным лицом, просить о помиловании ее сына, приговоренного к повешению. К ней вышел Панютин с вопросом: «что вам угодно?». «Мне нужно видеть генерал-губернатора, подать прошение о помиловании». «Дайте ваше прошение!», и когда она протянула ему свое прошение, Панютин тут же, даже не развернув и не читая, разорвал его в клочки, бросил в корзину и со словами: «вот кто генерал-губернатор!» повернулся и вышел...

Появление в нашей тюрьме зловещей фигуры Панютина и его фраза: «вижу, вам тут хорошо сидеть!» имели свои реальные последствия: на другой же день у нас отняли все книги, а чрез короткое время нас перевели во вновь выстроенный корпус одиночек с крошеч-

ными камерами, 3 аршина в длину и 2 в ширину, окна которых были заделаны на $\frac{3}{4}$; время прогулок было сокращено до 15 минут... Дни за днями шли медленно, тоскливо, бесцветно... Как-то раз, месяцев через пять после моего заключения, приставив к подоконнику столик, а на столик табуретку, и взгромоздившись таким образом, я выглянул через окошечко в тюремный двор и, увидев совершавшую свою прогулку Гуковскую ¹⁾, я был прямо поражен: вместо цветущего, краснощекого лица я увидел мертвенно-бледное, восковое, исхудавшее личико. Когда в тот же день на прогулке я поделился своим впечатлением с надзирателем, он мне ответил: «а вы думаете, что вы лучше выглядите?!». Этого, признаться, мне в голову не приходило, так как зеркала у меня не было...

Месяца через два Фомичев получил из военного окружного суда обвинительный акт, по которому он предавался военному суду, как главный зачинщик и организатор вооруженной демонстрации на Гулевой улице и как член тайного революционного сообщества, имеющего целью ниспровержение существующего государственного и общественного строя и т. д.; в это сообщество включили членов разных кружков разных годов, подчас никогда не знавших друг друга, всего 28 человек.

Но обо мне, попрежнему, ни слуху, ни духу. Я находился в полном недоумении: что же значит

¹⁾ О ней смотри главу I.

это молчание? Почему я не привлечен к процессу Фомичева? К лучшему это или к худшему? Не хотят ли судить меня отдельно?... Несколько дней спустя, меня вдруг позвали в контору, — в первый раз со времени моего заключения. «Должно быть для вручения обвинительного акта», решил я; но меня ждал более приятный сюрприз. В конторе меня ждала моя любимая тетка, которая жила постоянно в Одессе ¹⁾ и которой, наконец, разрешили свидание со мной. Я страшно обрадовался, увидев, наконец, близкого живого человека. Когда прошли первые минуты радостного свидания, она осторожно сообщила мне, чтобы (как потом созналась) не сразу испугать меня, что досятся слухи, что меня судить не будут, а высылают административным порядком в Восточную Сибирь. И когда я выразил по этому поводу свой живейший восторг, она наивно спросила с милой улыбкой: «Разве это хорошо?», на что я ответил: «конечно, хорошо, когда то и дело вешают или посылают в каторгу! Кроме того, я скоро избавлюсь от этих тюремных стен, буду на воле дышать воздухом, — правда в Восточной Сибири, но я готов быть сосланным хоть на Северный полюс, лишь бы очутиться на воле, вне тюремных стен, не видеть у себя вечно за спиной часовых или тюремщиков... И действительно, мысль очутиться «на воле», хотя бы за полярным кругом, казалась мне после му-

¹⁾ Родители мои, братья и сестры жили в Кишиневе.

чительного одиночного заключения чем-то невероятным, какой-то недостижимой мечтой... Чрез полчаса помощник смотрителя объявил нам, что пора кончить свидание. Надо отдать ему справедливость, что он все время свидания деликатно держался в стороне, почти не стесняя нас, так что моя тетя умудрилась даже вручить мне записочку с воли от одного из товарищей...

Бодрый и веселый я вернулся в свою мрачную полутемную одиночную клетку. Опять потекли бесцветные, тоскливые дни; силы мои заметно падали с каждым днем; прогулка в 15 минут уже утомляла меня. А на дворе стояла чудная южная весна, молодая душа так и рвалась на волю. Но дни шли, неизвестность и сомнения вновь овладели мною... Наступило начало августа 1879 г., — минуло больше года со дня моего одиночного заключения. Окончился процесс Фомичева, который получил, по тогдашнему времени, «мягкий» приговор: бессрочные каторжные работы, — а мягкий потому, что ничего не стоило повесить его. Сложжили свои головы на эшафоте Лизогуб, Чубаров, Малинка, Дробязгин, Давиденко; все они держали себя пред казнью с невероятным героическим мужеством. Все это надо было пережить; все эти события происходили, так сказать, на моих глазах...

В последних числах августа меня вновь позвали в контору. «Должно быть на свидание?» — сказал я вопросительно сопровождавшему меня надзирателю, но тот промолчал. Придя в контору, я увидел

нескольких товарищей по заключению, также еще не получивших обвинительного акта. В числе их припоминаю Чудновского Исаака Лазаревича, родного брата известного по большому процессу 193-х Соломона Лазаревича Чудновского, державшегося на суде чрезвычайно умно и с большим достоинством. Он был сослан в Тобольскую губернию вместе с другим выдающимся героем этого процесса Феликсом Волховским. В это время Исаак Чудновский был еще молодой человек, немногим старше меня. Сорок лет спустя, сын его коммунист был комендантом Смольного Института и погиб на фронте гражданской войны смертью героя...

В конторе нам объявили, чтобы мы забрали свои вещи, так как нас сейчас отправят на вокзал для дальнейшего следования, но куда — не сказали; но ясно было, что — в ссылку. Действительно нас, человек 15, скоро вывели за ворота в сопровождении большого конвоя, окружившего нас, и мы зашагали посреди улицы, жадно и с наслаждением вдыхая всею грудью вольный воздух заветной воли, от которой нас отделял только этот реденький лес сверкающих на солнце штыков. Вот она — эта воля, так близко и — так далеко!.. А сильнее небо над нами, — как оно красиво! а по бокам по тротуарам идут прохожие, взглянут бегло на эту кучку окруженных конвоем «преступников», и дела им нет никакого до нас: кто мы, куда нас ведут, зачем и за что... На вокзале нас посадили

в обыкновенной пассажирский вагон третьего класса, но охраняемый внутри и на площадках сильным конвоем, не спускавшим с нас глаз всю дорогу... Сидя в вагоне, мы могли свободно разговаривать друг с другом и делиться всеми пережитыми впечатлениями, обмениваться мыслями, надеждами и мечтами.

Было какое-то неизъяснимое наслаждение в этом путешествии после ужасов годичного одиночного тюремного заключения, хотя мы не знали точно, куда и как далеко нас везут, но знали, что—на волю, что рано ли, поздно ли,—через месяц, через два, через полгода, но когда-то и где-то нас выпустят, наконец, на вольную волю, без тюремных стен, без часовых, без конвоя, и это сознание было почти равносильно воскресению из мертвых...

Издательство „НОВАЯ МОСКВА“

Библиотека рабоче-крестьянской молодежи под общей редакцией МК РЛКСМ

Серия „Воспоминания Старого Большевика“
под ред. А. И. Елизаровой и Ф. Кона орг. П. Посвянский

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Ф. Кон. Из дней ранней юности. Выпуск 1-й. Цена 35 коп.
Ф. Кон. Арест и следствие. Выпуск 2-й. Цена 25 коп.
Ф. Кон. Этапом на каторгу. Выпуск 4-й. Цена 40 коп.
А. Шотман. Записки старого большевика. Цена 25 коп.
А. Енукидзе. Наши подпольные типографии. Цена 35 коп.
Л. Б. Красин. Дела давно минувших дней.
А. Петров. Рабочий-большевик в подполье.

НАХОДЯТСЯ В ПЕЧАТИ:

Ф. Кон. Суд над „Пролетариатом“. Вып. 3-й.
Л. Ступоченно. В Брестские дни.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

Шумяцкий. Революционная провинция.
Шумяцкий. Тюрьма и ссылка.
Клара Цеткин. Автобиография.
Ф. Кон. На Карийскую каторгу.
П. Дауге. Моменты из революционного прошлого.
Голубева М. П. Из далекого прошлого.
А. И. Елизарова-Ульянова. Воспоминания о Владимире Ильиче.
Н. Семашко. Воспоминания.
Пучнов-Безродный. Годы 1905—1914.
Ем. Ярославский. 1905 год.

Воспоминания Старого Революционера.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

С. Е. Лион. От пропаганды к террору. Выпуск 1-й.

НАХОДЯТСЯ В ПЕЧАТИ:

С. Е. Лион. Революционеры за полярным кругом. Вып. 2.
С. Е. Лион. Морской побег. Вып. 3-й.
М. Ф. Фроленко. Хождение в народ.
О. В. Аптенман. Земля и воля.
Янович. Воспоминания о Шлиссельбурге.
П. А. Крапоткин. Побег из крепости.